

Глава 20

Среди друзей

Той осенью и зимой Россия впервые ощутила всю тяжесть воли Петра. Истязания и казни стрельцов были самым страшным и ярким ее проявлением, но еще не погасли пыточные жаровни, как перепуганные москвичи и иностранные наблюдатели начали угадывать во всех действиях царя единую линию. Разгром стрельцов и усекновение бород и рукавов, изменение календаря и денежной системы, заточение царицы, глумление над церковными обрядами, строительство кораблей в Воронеже – все вело к одной цели: разрушить старое и ввести новое, подтолкнуть огромную, неподатливую массу соотечественников к более современному, европейскому образу жизни.

Здесь рассказывалось о каждом из этих ударов по старой Руси в отдельности, но все они происходили одновременно. Проведя день в застенке в Преображенском, вечером Петр отправлялся на сменявшие друг друга празднества, пиры и увеселения. Почти каждый вечер той страшной осенью и зимой Петр посещал банкет или маскарад, свадьбу, крестины или потешное богослужение Всепьянейшего собора. Он делал это и затем, чтобы облегчить душу от гнева на бунтовщиков, забыть ненадолго об ужасном бремени возмездия, и потому, что рад был, проводя полтора года в Европе, снова оказаться дома, среди друзей.

На этих вечерах нередко присутствовала Анна Монс. Она стала любовницей Петра еще до отъезда Великого посольства, а теперь, когда Евдокию устранили, эта женщина, называвшая себя «верным другом» царя, перестала скрываться и ее признали в обществе. Рука об руку с царем она посетила крестины сына австрийского посланника, а в день рождения Анны Петр приехал на обед к ее матери. Своим появлением в веселых компаниях Анна и немногочисленный, но все расширявшийся кружок дам разрушили незыблемую в России традицию чисто мужских пирушек. Не были эти вечера и исключительно русскими. К компании петровских любимцев присоединялись послы Дании, Польши, Австрии и Бранденбурга. Петр просто упивался их обществом – они ему давали ощущение близости к западной культуре и куда лучше, чем его бояре, понимали надежды и чаяния царя. Присутствие дипломатов оказалось удачей для истории, так как в своих дневниках и донесениях они оставили яркие описания жизни петровского двора.

Самое полное и красочное из этих описаний принадлежит перу Иоганна Георга Корба, секретаря австрийского посла. Не всегда его сведения надежны, нередко они основаны на слухах, однако Корб был усердным наблюдателем, фиксировал каждую сцену, увиденную своими глазами, как и каждое услышанное слово. Со страниц его записок встает живая картина петровского времени от возвращения царя из Европы до того момента, когда он окунулся в великую войну, которая заняла главное место в его жизни и царствовании.

Молодой австрийский дипломат приехал в Москву в апреле 1698 года, когда Петр все еще был в Лондоне. Въезд посла, при котором состоял Корб, в русскую столицу был необыкновенно пышным, а традиционный торжественный пир в честь прибытия посольства поразил всех великолепием. Гости насчитали на нем по меньшей мере сто восемь различных яств.

Петр принял посольство после своего возвращения. Аудиенция проходила в доме Лефорта. «Царское величество окружали, наподобие венка, вельможи. Он резко отличался от всех их изящным величием тела и духа... Когда мы поклонились царю с почтением, подобающим высочайшему сану, он приятным мановением обещал нам свой благосклонный прием... [Царь] допустил к руке посла, его чиновников и бывших тут миссионеров...»

Но Корб и его коллеги скоро узнали, что столь церемонный прием – не более чем фасад. На самом деле Петр терпеть не мог исполнять официальные обязанности подобного рода, и когда не мог уклониться от этого, им овладевали неловкость и замешательство. В церемониальном облачении, сидя на троне или стоя возле него, он выслушивал речи вновь прибывших послов, и это причиняло ему истинные страдания: он тяжело дышал, краснел и потел. Как узнал потом Корб, царь говорил: «С какой это стати одних только царей

подчинять бесчеловечному закону: ни с кем не быть в сношениях!» Петр подобные законы отвергал, а потому обедал и разговаривал со своими приближенными, с офицерами-немцами, с купцами, с послами зарубежных государств – словом, с кем ему было угодно. Если ему хотелось есть, то фанфары не звучали, а просто кто-нибудь кричал: «Государю кушанье!» – и стол уставляли напитками и мясом, без соблюдения какого-то особого порядка, и каждый брал, что ему хотелось.

Австрийским гостям, привыкшим к торжественным приемам в Хофбургском дворце в Вене, эти московские пиры казались весьма непринужденными и даже буйными. Корб писал, что однажды царь велел устроить обед у Лефорта и пригласить на него всех послов и знатных бояр. Царь прибыл позже, чем обычно, так как занимался важными делами. Даже за столом, невзирая на присутствие послов, он продолжал обсуждать какие-то вопросы со своими боярами, но это обсуждение скорее напоминало перебранку, так как собеседники не скупались ни на слова, ни на жесты, все были возбуждены сверх меры, каждый упрямо отстаивал свое мнение с неуместной запальчивостью, опасной в присутствии царя. Двое, чей более низкий ранг не позволял вмешаться в этот затруднительный спор, старались обратить на себя внимание, кидаясь в головы присутствующих хлебом. Но и «между москвитянами находились также и такие лица, которые своей скромностью в разговоре с государем обнаруживали высший ум».

Корб продолжает: «Князь [Михаил] Алегукович Черкасский отличался степенностью, приличною его пожилым летам; зрелый ум виден был в советах боярина Головина. У [Андрея] Артамоновича [Матвеева] проявлялась опытность в государственных делах; а так как эти достоинства встречались редко, то тем ярче они сияли. Артамонович, негодуя на то, что при царском столе находилось так много разных сумасбродных чудаков... сказал полатыни: „Дураками полон свет“, и притом так громко, что могли слышать все, понимающие латинский язык».

Петр использовал эти пиршества, чтобы заодно решать разные дела. «После обеда началась пляска и отпуск польского посла следующим образом. Царь внезапно ушел из толпы пирующих, позвав с собой польского посланника в смежную комнату, в которой хранились кубки, рюмки и разнородные напитки; туда же хлынули было и все гости, чтобы разузнать, в чем дело. Еще не успели все туда войти (ибо, желая попасть разом, только мешали друг другу), как уже царь, возвратив польскому посланнику его верительную грамоту, вышел из комнаты, и тем привел в смущение тех, которые с большим усердием старались в нее проникнуть».

Хотя европейцы и смотрели на московитов свысока, но иногда и сами вели себя глупо и ребячливо. На одном обеде в честь послов Дании и Польши польскому послу досталось двадцать пять блюд с царского стола, а датчанину всего двадцать два. Он пришел в негодование, и обида его смягчилась, лишь когда ему позволили опередить своего польского соперника и раньше него подойти к царской руке при прощании. Тут глупый датчанин начал так важничать и кичиться своей маленькой победой, что возмутился уже поляк. Наконец Петр услышал об их ссоре и, презрев всякий протокол, вскричал: «Оба они ослы!»

Кое-кто из иноземных послов допускал ту же оплошность, какая случалась иногда с петровскими боярами: привыкнув смотреть на царя как на приятеля и собутельника, они забывали, кем, собственно, был этот верзила, с которым они так горячо спорили. Спор переходил за грань допустимого, и тут оппоненты Петра вдруг с опозданием ловили себя на том, что с отчаянной запальчивостью препираются с человеком, наделенным могуществом абсолютного монарха и властным распоряжаться жизнью и смертью целого народа. Иногда споры бывали сравнительно мирными. Как-то за обедом Петр сказал собравшимся, что в Австрии было потолстел, но на обратном пути на польских харчах опять отошал. Польский посол, человек весьма дородный, принялся утверждать, что вырос в Польше и обязан своей полнотой тамошней кухне. Петр парировал: «Ты растолстел не там, но в Москве». Поляк, как и все другие послы, находился на продуктивном и денежном довольствии принимающего правительства, так что благоразумно смолчал.

А вот другой случай: как-то раз на пиру зашла речь о различиях между странами; при этом очень плохо говорили о стране, лежавшей рядом с Россией (Корб не называет, о какой именно). Приехавший оттуда посол, со своей стороны, отвечал, что заметил и в России многое, достойное порицания. Царь резко оборвал его: «Если бы ты был мой подданный, то я бы послал тебя к тем, что теперь качаются на виселицах, так как я хорошо понимаю, к кому твои слова относятся». Немного погодя царь нашел способ поставить этого человека танцевать в паре с шутком, служившим посмешищем всего двора, что вызвало кругом ухмылки и смех. Однако посол пустился в пляс, не понимая, какую с ним сыграли постыдную шутку, и танцевал, пока австрийский дипломат не напомнил ему потихоньку о необходимости беречь достоинство посла.

* * *

Настроения Петра бывали странны и непредсказуемы, и случалось, что его внезапно бросало от восторженных порывов к гневному припадку. Сейчас он был общителен, радовался, что его окружают друзья, потешался над чудным видом только что обритого приятеля, но через несколько минут мог впасть в глубокое, болезненное уныние или взорваться буйной яростью. На одном празднике рассерженный Петр обвинил Шеина в продаже армейских чинов за звонкую монету. Шеин все отрицал, и Петр пулей вылетел из комнаты – расспрашивать солдат, несших караул вокруг дома Лефорта, чтобы выяснить, «сколько наделал Шеин полковников и прочих офицеров не по заслугам, а за одни лишь деньги».

Далее этот эпизод, в изложении Корба, развивался так: «Спустя несколько времени он вернулся, и, в страшном гневе, пред глазами воеводы Шеина, ударил обнаженным мечом по столу и вскричал: „Так истреблю я твой полк!“ В справедливом негодовании царь подошел затем к князю Ромодановскому и к думному дьяку Никите Моисеевичу [Зотову]. Заметив, что, однако, они оправдывают воеводу, до того разгорячился, что, махая обнаженным мечом во все стороны, привел тут всех пирующих в ужас. Князь Ромодановский легко ранен в палец, другой в голову, а Никита Моисеевич, желая отвести от себя удар царского меча, поранил себе руку. Воеводе готовился было далеко опаснее удар, и он, без сомнения, пал бы от царской десницы, обливаясь своею кровью, если бы только генерал Лефорт (которому одному лишь это дозволялось) не сжал его в объятиях и тем не отклонил руки от удара. Царь, возмущенный тем, что нашелся смельчак, дерзнувший предупредить последствия его справедливого гнева, напрягал все усилия вырваться из рук Лефорта, и, освободившись, крепко хватил его по спине. Наконец, один только человек, пользовавшийся наибольшей любовью царя пред всеми москвитянами⁷¹, сумел поправить это дело... Он так успел смягчить сердце царя, что тот воздержался от убийства, а ограничился одними угрозами. За этой страшной грозой наступила прекрасная погода. Царь с веселым видом присутствовал при пляске и, в доказательство особенной любезности, приказал музыкантам играть те самые пьесы, под какие он плясал у своего... „любезнейшего господина брата“, то есть царь вспоминал о том бале, какой дан был императором в честь его гостей. Две горничные девушки пробрались было тихонько посмотреть, но государь приказал солдатам их вывести. И тут, при заздравных чашах, палили из 25-ти орудий, и пирушка приятно продолжалась до половины шестого часа утра».

На другой день произведенные Шеиным назначения были отменены, и с тех пор обязанность решать, кого из офицеров следует повесить в чине, лежала на Патрике Гордоне.

Не в первый раз Лефорт подставлял себя под царские кулаки или кидался между Петром и очередной жертвой его ярости. 19 октября царь обедал у полковника Чамберса, как вдруг, пишет Корб: «Не знаю, какой вихрь расстроил веселость до того, что Его Царское Величество, схватив генерала Лефорта, бросил его на землю и попраля ногами». И все равно

⁷¹ Речь идет о Меншикове. – *Примеч. ред.*

Лефорт пытался противостоять монаршему гневу. На пиру для двухсот вельмож в новом Лефортском дворце заспорили два бывших регента, дядя Петра, Лев Нарышкин, и князь Борис Голицын. Петр разозлился и «объявил напрямик, что тот из двух, который окажется более виновным, отдаст под меч свою голову и что их соперничество таким образом прекратится. Для раскрытия этого дела назначен князь Ромодановский; генерал Лефорт хотел было утишить гнев царя, но царь сильно оттолкнул его от себя кулаком».

Корб не скрывает, что больше других ему не по душе князь Федор Ромодановский, высокий, густобровый наместник Москвы и потешный князь-кесарь, который служил у Петра еще и главой розыскного ведомства. Ромодановский был угрюм и обладал тяжеловесным юмором. Он любил заставлять гостей выпить большой кубок перцовки, который им подносил, встав на задние лапы, громадный дрессированный медведь. Если гость отказывался, медведь принимался срывать с упряма шляпу, парик, а затем и другие части гардероба. Иностранцев князь ни в грош не ставил. Однажды он похитил понадобившегося зачем-то немца-переводчика, который состоял при одном из царских врачей, и отпустил лишь после того, как этот врач пожаловался Лефорту. В другой раз арестовал доктора-иностранца, а когда тот после освобождения спросил князя Ромодановского, для чего его так долго продержали в заключении, то в ответ услышал: «Только для того, чтобы вам более досадить».

* * *

12 октября Корб записал в дневнике, что «выпало чрезвычайно много снега и был сильный мороз». Пиршества и казни шли своим чередом, хотя Петр вскоре покинул Москву и отправился на воронежские верфи. Впрочем, к Рождеству царь возвратился. Вот рождественские впечатления Корба: «У русских дню Рождества Господня предшествует пост; сегодня, накануне этого праздника, все рынки и перекрестки переполнены всякого рода мясом. В одном месте невероятное количество гусей, в другом столько освежаванных боровов, что, кажется, было бы их достаточно на целый год; здесь множество убитых волов, там как будто стаи птиц... слетелись в этот город со всех концов Московского царства. Было бы излишне перечислять все их роды: все, чего только пожелаешь, все найдешь».

Далее Корб описывает празднование Рождества, окрашенное грубым весельем Всепьянейшего собора: «Театральный патриарх в сопровождении мнимых своих митрополитов и прочих лиц, числом всего 200 человек, прокатился в восьмидесяти санях через весь город в Немецкую слободу, с посохом, в митре и с другими знаками присвоенного ему достоинства. В домах всех купцов и богатейших москвитян и немецких офицеров воспевались хвалы родившемуся Богу, при звуках музыки, нанятой хозяевами дома за большие деньги. После сих песнопений в честь Рождества Христова генерал Лефорт принимал все общество у себя в доме, где имело оно, для своего удовольствия, приятнейшую музыку, угощение и танцы».

За свои хриплые колядки царь и вся его развеселая компания ожидали щедрого вознаграждения, если же их ожидания не оправдывались, хозяин мог пенять на себя: «Филатьев, богатейший московский купец, дал царю, воспевавшему у него со своими боярами хвалы родившемуся Богу, только 12 рублей. Царь этим так обиделся, что тотчас же послал к нему 100 человек мужичков, приказав немедленно выдать каждому из них по рублю».

Празднества продолжались до Крещения, когда у подножия кремлевской стены происходил традиционный обряд водосвятия. Вопреки обычаю, царь не сидел на троне рядом с патриархом, а появился в военной форме со своим полком, который в составе двенадцатитысячного войска стал строем на толстом речном льду. Корб писал: «Крестный ход подвигался в следующем порядке к замерзлой, по причине зимнего времени, реке. В голове шел полк генерала Гордона... яркий красный цвет новых мундиров давал этому полку нарядный вид. За полком Гордона следовал Преображенский, хорошо одетый в новые

зеленые мундиры. Царь, своим высоким ростом внушавший должное его высочайшему имени почтение, исправлял в оном должность капитана. Затем следовал третий полк, Семеновский... цвет воинских кафтанов голубой. В каждом полку два хора музыкантов, а в каждом хоре по восемнадцать человек... На реке, покрытой крепким слоем льда, была устроена ограда; в верхнем конце поперек реки был расстановлен полк Гордона, в низшем конце ее Семеновский полк, вдоль же реки, возле ограды, расположился Преображенский полк. При каждом полку были поставлены принадлежащие ему орудия... Пятьсот лиц духовенства, дьяконы, подьяконы, священники, игумены, епископы и архиепископы в одеждах, богато украшенных серебром, золотом, жемчугом и камнями, придавали этому обряду еще более величественный вид. Двенадцать церковнослужителей несли перед большим золотым крестом фонарь, в котором горели три восковые свечи. Неимоверное множество народа толпилось везде, на улицах, на крышах и на стенах города. Когда духовенство наполнило собой обширную загородку, начались, при множестве зажженных свечей, священные обряды с воззваниями к Богу; после того митрополит обошел кругом место с курившейся кадилницей. В середине ограды был проломан пешнею лед, чрез что образовалось отверстие в виде колодца, в котором вода поднялась кверху; эту воду, трижды окадив, освятил митрополит троекратным погружением в нее горячей свечи, и осенил ее затем обычным благословением. Подле ограды поставлен был столп, превышавший городские стены: на нем человек, удостоенный этой почести от царя, держал знамя царства. Это знамя белое, на нем сияет двуглавый орел, вышитый золотом; развивать его не позволено, пока духовенство не перейдет за ограду; тогда человек, держащий знамя, обязан следить за обрядами каждения и благословения, так как о каждом из них он должен извещать наклоном онога. Полковые знаменщики внимательно наблюдают за ним, чтобы отвечать ему тоже преклонением знамени. После благословения воды знаменщики всех полков, подойдя со своими знаменами, становятся вокруг загородки для того, чтобы последние могли быть достаточно окроплены святою водою. Патриарх, а в отсутствие его митрополит, сходит с своего седалища или возвышения и кропит царя и всех воинов святою водою. Пальба из орудий всех полков по царскому приказанию заканчивает обряд; за пальбой, в знак торжества, раздались троекратные залпы из ружей».

Осенние и зимние вакханалии достигли пика на Масленицу, накануне Великого поста. Центральную роль в этих буйствах играл Всеппянейший собор, члены которого в потешном церемониальном шествии проследовали во дворец Лефорта для поклонения Бахусу. В числе зрителей, наблюдавших за процессией, был Корб. «...Митра [потешного патриарха] была украшена Вакхом, возбуждавшим своей наготою страстные желания. Амур с Венерою украшали посох, чтобы показать, какой паствы был этот пастырь. За ним следовала толпа прочих лиц, отправлявших вакханалии: одни несли большие кружки, наполненные вином, другие сосуды с медом, иные фляги с пивом и водкою. И как, по причине зимнего времени, они не могли обвить свои чела лаврами, то несли жертвенные сосуды, наполненные табаком, высушенным на воздухе и, закулив его, ходили по всем закоулкам дворца, выпуская из дымящегося рта самые приятные для Вакха благоухания... Театральный первенствующий жрец подавал чубуком знак одобрения достоинству приношения. Он употреблял для этого два чубука, накрест сложенные».

Многих иноземных послов шокировала эта пародия, и сам Корб поражен был тем, что «изображение креста, драгоценнейшего символа нашего спасения, могло служить игрушкою». Но Петр не видел причин скрывать от посторонних глаз свои забавы. 1 марта у царя был на прощальной аудиенции посол Бранденбурга. Затем царь велел ему остаться на обед. «После обеда думный дьяк Моисеевич, разыгрывающий роль патриарха, по требованию царя начал пить на поклонение. В то время как этот лицедей пил, каждый должен был, в виде шутки, преклонить перед ним колени и просить благословения, которое он давал двумя чубуками, крестообразно сложенными. Один только из посланников, который, по чувству уважения к древнейшей христианской святыне, не одобрял этих шуток, скрытно удалился и тем избежал принуждения принимать в них участие. Тот же Моисеевич,

с посохом и прочими знаками патриаршего достоинства, первый пустившись в пляс, изволил открыть танцы. Царевич с княжной Натальей находились... в [смежной] комнате. Царевич был одет в немецкое платье; хороший покрой его одежды и прелестное убранство головы его, вьющиеся пряди волос, все это прекрасно шло к его красоте. Наталью окружали знатнейшие господа. Сегодня обнаружилось в русском обществе смягчение нравов, так как до сего времени женщины никогда не находились в одном обществе с мужчинами и не принимали участия в их увеселениях, сегодня же некоторые не только были на обеде, но также присутствовали при танцах».

А тем временем, словно мрачное сопровождение этому масленичному веселью, шли, не прекращаясь, казни стрельцов. 28 февраля тридцать шесть человек погибли на Красной площади и сто пятьдесят в Преображенском. В тот же вечер у Лефорта было пышное празднество, после которого гости любовались восхитительным фейерверком. В первую неделю марта начался Великий пост, а с ним пришел конец безумному карнавалу веселья и смерти. На город опустилась такая благодатная тишина, что Корб заметил: «Сколько было на прошедшей неделе шума и шалостей, столько в настоящую – тишины и смирения... Последовало внезапное и невероятное преобразование: лавки заперты, торги на рынках закрыты, присутственные и судебные места прекратили свои занятия; нигде не подавали на стол ни рыбы, ни кушаний с деревянным маслом [оливковое масло низкого сорта], наблюдался строжайший пост, чтобы умертвить плоть; питались только хлебом и земными плодами».

В затишье Великого поста власти наконец начали снимать тела стрельцов с виселиц, где они провисели всю зиму, и вывозить, чтобы предать земле. «Это было ужасное зрелище для народов более просвещенных, выразительное и полное отвращения, – писал Корб. – В телегах лежало множество трупов, кое-как набросанных, многие из них полунагие: подобно резанному скоту, который везут на торг, тащили тела к могильным ямам».

Помимо жизни петровского двора, Корб наблюдал немало повседневных московских картинок. Царь постановил сделать что-нибудь с галдящими ордами нищих, которые увязывались на улице за горожанами, как только те выходили из своих дверей, и всю дорогу плелись следом за ними. Частенько попрошайки ухитрялись, не прекращая кланяться, ловко обшарить карманы своей жертвы. Петровским указом запрещалось просить милостыню, как и поощрять попрошайничество, и всякого, пойманного за раздачей милостыни, ждал штраф в пять рублей. Чтобы облегчить участь нищих, царь на свои личные средства учредил больницы для бедных при каждой церкви. Условия в этих больницах, вероятно, были суровые, о чем свидетельствует еще один иностранец: «Улицы скоро очистились от бродяг, многие из которых предпочли работать, чем очутиться в больничном заточении».

Даже в те времена, когда во всех странах царило беззаконие, Корба поразила многочисленность и дерзость московских разбойников, которые сбивались в шайки и нагло грабили всех подряд. Обыкновенно по ночам, но иногда и среди бела дня они нападали на свою жертву, обдирали ее как липку, а нередко и убивали. Случались убийства таинственные, так и оставшиеся нераскрытыми. Одного моряка-иностранца, гостившего с женой у какого-то боярина, пригласили прокатиться на сани по вечерней пороше. Когда гость с хозяином вернулись с прогулки, то обнаружили, что жене моряка отрезали голову, и не нашлось никаких указаний на личность или мотивы убийцы. Правительственные чиновники чувствовали себя не в большей безопасности, чем простые горожане. 26 ноября Корб записал: «Один гонец был отправлен ночью в Воронеж к Его Царскому Величеству с письмами и драгоценными вещами, но на Каменном мосту в Москве его схватили и обобрали. На рассвете были найдены распечатанными письма, разбросанные по мосту, а гонец и вещи пропали без вести... подозревают, что гонец был опущен под лед протекающей там реки Неглинной». Иностранцам приходилось проявлять особенную осмотрительность, поскольку их считали завидной добычей не только грабители, но и простые москвичи. Один человек из штата австрийского посольства, знавший русский язык, доложил, что только что

на улице повстречал прохожего, изрыгавшего потоки хулы и проклятий всем иностранцам: «Вы, собаки немцы, довольно уж вы на свободе обирали и грабили: пора уже унять вас и казнить!» Встреча с одиноким иностранцем, особенно нетвердо стоящим на ногах после застолья, давала некоторым москвичам редкую возможность отвести душу. При этом сопротивляться насилию часто тоже бывало небезопасно, так как Петр, пытаясь сократить количество уличных убийств, объявил преступником любого, кто в пьяном виде вытащит саблю, пистолет или нож, хотя бы для самозащиты, даже если оружие не будет пущено в дело. Однажды вечером австрийский офицер по фамилии Урбан возвращался навеселе домой в Немецкую слободу. На него напал какой-то русский – сначала ругался, а потом полез с кулаками. По словам Корба, Урбан, «обиженный таковым бесчестьем, притом со стороны столь ничтожного человека, пользуясь естественным правом обороны от безрассудного обидчика, стал сильно защищаться пистолетом. Пуля слегка скользнула поверх головы нападавшего. Рана не представляла никакой опасности для его жизни: однако же, чтобы жалоба пораненного не наделала большого шума и, дошедши до Царского Величества, не послужила поводом к делу, Урбан, по любовной с ним сделке, дал ему четыре рубля, с тем чтобы тот молчал о случившемся». Однако Петр все-таки об этом прослышал. Урбана арестовали и обвинили в тяжком преступлении. Когда друзья Урбана стали оправдывать его тем, что он был пьян, царь ответил, что оставил бы его безнаказанным, если бы он в пьяном виде просто подрался, но пьяную пальбу спустить не может. Однако он заменил смертную казнь поркой, и только благодаря неустанным просьбам австрийского посла отменил наконец и ее.

Впрочем, и грабителям, если они попадались, приходилось несладко. Они партиями шли на дыбу и виселицу: как-то в один день повесили семьдесят человек. Но это все равно не останавливало их собратьев. Для них озорство на улице было образом жизни, а неподчинение властям так глубоко в них укоренилось, что усилия все-таки заставить их уважать закон вызывали бурю негодования у его закоренелых нарушителей. Например, хотя государство имело монополию на водку и частная торговля строго запрещалась, ее успешно продавали в одном московском доме. Пятьдесят солдат было послано конфисковать противозаконный товар. Произошел настоящий бой, трое солдат погибли. Винокуры-контрабандисты, нимало не смущаясь и не помышляя о бегстве, угрожали еще более суровым возмездием, если попытка захвата повторится.

Что говорить, если стража и солдаты, на которых возлагалось насаждение законности, сами были не слишком законопослушны. Корб заметил, что «солдаты в Московии имеют обыкновение мучить тех, кто попадет им в руки, как им заблагорассудится, невзирая на личности или их вину. Солдаты сплошь и рядом бьют арестованных прикладами и палками, запихивают их в самые непотребные дыры, особенно богатых, которым не краснея заявляют, что не перестанут издеваться, пока не получат кругленькой суммы. Идет ли арестованный в тюрьму добровольно, или его ведут силой, все равно по дороге избивают».

В апреле 1699 года в Москве вдруг круто подскочили цены на продукты. Розыск показал, что солдаты, которым приказали до весенних оттепелей вывезти из города тела казненных стрельцов, реквизировали телеги у крестьян, привозивших в Москву пшеницу, овес и другое зерно, причем самих крестьян заставляли освобождать телеги от продуктов, нагружать трупами, вывозить и хоронить казненных. Добычу солдаты оставляли себе, чтобы съесть или продать. Напуганные таким откровенным разбоем, крестьяне перестали привозить в город припасы, а цены на то, что уже было завезено, выросли астрономически.

С наступлением теплых дней иностранных послов стали часто приглашать за город, в красивые, цветущие окрестности Москвы. Корб и австрийского посла пригласили на пир в имение дядюшки Петра, Льва Нарышкина. «Изобилие редкостных яств, ценность золотой и серебряной посуды, разнообразие и изысканность напитков с несомненностью свидетельствовали о близком родстве хозяина с царем. После обеда состязались в стрельбе из лука. Никто не мог уклониться от участия, поскольку объяснения вроде того, что эта забава гостю незнакома или у него нет достаточной сноровки, во внимание не принимались.

Мишенью служил кусок бумаги, укрепленный над землей. Хозяин прострелил его в нескольких местах под общие аплодисменты. Дождь оторвал нас от этих приятных упражнений, и мы вернулись в покои. Нарышкин, в знак уважения к господину послу, отвел его за руку в комнаты своей жены, чтобы он обменялся с ней приветствиями. У русских нет более высокой почести, чем получить от мужа приглашение поцеловать его жену и удостоиться принять чарку водки из ее рук».

В другой раз послу показали царский зверинец – «неимоверной величины белого медведя, леопардов, рысей и многих других зверей, которые содержатся здесь только для удовлетворения любопытства». Затем он побывал в знаменитом Новоиерусалимском монастыре, построенном Никоном, а потом отправился в гости к Виниусу. «Мы находили особенное удовольствие, наслаждаясь катанием в лодке и ловлею сетями рыбы; это нас тем более занимало, что мы знали, что пойманная нами рыба будет служить для нашего ужина». Послов приглашали и в царское имение в Измайлово. В Москве стояла июльская жара, и гости нашли, что Измайловский дворец расположен самым удачным образом. «Замок окружает роща, замечательная тем, что в ней растут хотя и редко, но весьма высокие деревья; свежесть тенистых кустарников умягает там палящий жар солнца». Были там и музыканты, «чтобы гармоническую мелодию своих инструментов соединить с приятным звуком тихого шелеста ветра, который медленно стекает с вершин деревьев».

Визит Корба, связанный с пребыванием имперского посла, длился пятнадцать месяцев. В июле 1699 года они отбыли после пышных прощальных церемоний. Петр щедро одарил дипломата и его свиту, причем среди подарков было много соборей. По приказу царя устроили великолепную процессию, и посол ехал в парадной царской карете с золотыми и серебряными украшениями и драгоценными камнями на дверцах. Карету и другие экипажи австрийского посольства провожали новые петровские эскадроны кавалерии и полки пехоты западного строя.